

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

М.И. ДЕГТЯРЕВА

ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР И Н.М. КАРАМЗИН

В статье рассмотрена история возвышения Жозефа де Местра при дворе Александра I. Де Местр (1753–1821), франко-итальянский философ, один из отцов-основателей консервативной традиции, находился в России в качестве сардинского посланника с 1803 по 1817 гг. Первоначально не имея официального статуса и представляя короля без королевства, он выступал в качестве просителя дипломатической и финансовой помощи Сардинии. Благодаря таланту философа и ораторским способностям он стал заметной фигурой в политической жизни Петербурга. На первый взгляд, фактический и хронологический ряд, связанный с пребыванием Местра в России, восстановлен давно. Однако мотивы, по которым Александр приблизил к себе де Местра, до конца не ясны.

В книге Р. Триумфа [1] и в статье М. Степанова о российской «одиссее» де Местра [2] говорится, что Александр I хотел использовать католика для «умиротворения» Польши перед началом военных действий 1812 г.¹ Кроме того, царь, зная, сколь азартно де Местр следил за успехами Наполеона, прислушивался к его советам относительно стратегии предстоящей военной кампании². Популярность де

Дегтярева Мария Игоревна — кандидат исторических наук, научный сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук. **Адрес:** 119571 Москва, пр. Вернадского, д. 82, к. 2. **Телефон:** (095) 434–72–82. **Электронная почта:** maria-msses@yandex.ru

¹ По просьбе царя де Местр подготовил проект манифеста о провозглашении Королевства польского, но поздно — 26 июня Варшавский сейм объявил о восстановлении Польши.

² Император Александр дважды вызывал де Местра для разговора о предстоящей войне: 5 марта и 8 апреля 1812 г.

Местра в петербургских салонах³, его литературная слава, его познания и вкус — все это имело значение для европейски образованного царя⁴. Однако есть еще одно обстоятельство, заслуживающее внимания. Де Местр был не единственной кандидатурой на место М.М. Сперанского. Его невольным конкурентом оказался российский историк Н.М. Карамзин. Оба они получили одно и то же задание: обосновать отказ от либерального политического курса.

Карамзину оказывала покровительство великая княгиня Екатерина Павловна, любившая «угощать» гостей тверского дворца вечерними чтениями «Истории государства Российского» в исполнении автора. По ее просьбе в феврале 1811 г. Н.М. Карамзин составил и привез в Тверь «Записку о древней и новой России». Местр получил подобное задание от князя Алексея Голицина, знакомого с его идеями и стилем, лишь в октябре⁵. «Четыре главы о России» увидели свет в декабре того же года, когда альтернативы для Александра, собственно, уже и не существовало: судьба записки Николая Михайловича окончательно разрешилась еще в марте. Де Местр вообще едва ли догадывался о проекте Карамзина — тверская история была окружена аурой строгой секретности, и почти никто не знал о существовании опального произведения историка. Записку Карамзина обнаружили случайно уже в 1836 г.

Обстоятельства знакомства царя с работой протеже Екатерины Павловны недостаточно хорошо известны, и о его реакции можно судить только на основании фрагментарных свидетельств и того факта, что творение это было предано забвению. Достоверно лишь, что Карамзин пользовался расположением Александра до государева визита в Тверь 19 марта 1811 г., когда после теплого вечера последовали обыкновенная в поведении Александра «внезапная перемена» и сухое прощание. Царь сменил отчуждение на милость к историку уже после Отечественной войны, в 1816 г.

И все-таки оба проекта были представлены на суд Александра I в течение одного года. Минусами кандидатуры де Местра были его профессиональная принадлежность и иностранное подданство. Бла-

³ А.С. Стурдза — один из видных деятелей «Библейского общества», будущий противник иезуитов, писал, например, что «месье де Местр бесспорно был самым выдающимся персонажем Петербурга во времена Александра I» [1, р. 305].

⁴ Однажды Местр получил от царя не совсем обычное предложение: выбрать вариант памятника Минину и Пожарскому в Москве. Именно его выбор получил одобрение императора [2, с. 593].

⁵ А.Н. Голицин читал, например, «Мемуар о свободе и общественном обучении», поданный ему в разгар полоцкой кампании, 18 октября 1811 г.

госклонное отношение Александра к сочинению де Местра тем более любопытно, что, несмотря на различия в понимании авторами природы монархической власти в России и в их отношении к механизму комплектования политического штата, основополагающие мотивы обоих произведений иногда сходны до совпадений.

На наш взгляд, шансы де Местра, как ни парадоксально, увеличились за счет того, что среди его покровителей не было членов царской семьи. А Александра со времен Тильзита раздражало участие в оппозиции Марии Федоровны и его любимицы Екатерины. Скорее всего именно их давление способствовало устранению Сперанского. Александр, как ни был он раздосадован советами своего фаворита по поводу военной кампании⁶ и необходимостью «платить по счетам» за собственные либеральные авансы, отставку Сперанского перенес довольно болезненно⁷. Ощущение несвободы, по-видимому, вообще тяготило царя: любимая игрушка покойной Екатерины, во многом определившей его отношения с отцом, невольный соучастник убийства Павла I (чего только стоила фраза Палена: «С' est assez faire l'enfant! Allez regner!»⁸), покровитель, уступающий в цельности своему фавориту и с обидой вопрошавший: «Но что же я такое? Разве нуль?» [3, с. 149], император явно желал проявить свою волю и в военных событиях 1812 г., и при выборе нового секретаря. Возможно, поэтому высочайшее покровительство Екатерины Карамзину произвело эффект, противоположный ожиданиям.

Но видел царь в де Местре перспективного сподвижника или же только временную фигуру? Отставка Сперанского была не обычной кадровой перестановкой, она означала кардинальное изменение политического курса. С именем Сперанского ассоциировалась либеральная политика, должно ли было имя де Местра олицетворять консервативную?

С одной стороны, де Местр, предложив свою концепцию, действительно выглядел генератором нового политического направления. На серьезность намерений Александра указывает и официальное приглашение савойца на службу 17 марта 1812 г. Царь даже выдал ему 20 000 рублей «для подготовки и проведения своих замыслов». Но с

⁶ Александр вспоминал: «Он имел дерзость, описывая мне все воинские таланты Наполеона, советовать, чтобы я, сложив все с себя, собрал Боярскую думу и предоставил ей вести отечественную войну» [3, с. 149].

⁷ На следующий день после отставки Сперанского царь сделал признание А.Н. Голицину: «Если бы у тебя отняли бы руку, ты, верно, кричал бы и жаловался, что тебе больно. У меня в прошедшую ночь отняли Сперанского, а он был моей правой рукой!» [3, с. 150].

⁸ «Хватит быть ребенком! Пора править!» (франц. — *Прим. ред.*).

другой — до войны оставались считанные месяцы. Насколько актуальной для главы государства в этот момент могла быть разработка новой концепции внутренней политики, и не являлся ли де Местр только временной заменой Сперанского? Не мог же император сбрасывать со счетов латинство своего нового слуги?

Возможно, сам царь колебался в отношении политического будущего де Местра; исход определило непривычное для российских придворных кругов поведение последнего. Приступив с февраля 1812 г. к исполнению обязанностей личного секретаря императора, включающих редактирование секретных бумаг, де Местр отказался официально перейти на русскую службу и предупредил Александра, что долг перед сардинским королем не позволяет ему дать «подписку о неразглашении» информации, к которой он получит доступ. Р. Триумф склонен видеть в этом доказательство того, что де Местр, будучи авантюристом, «играл сразу на нескольких досках». Более правдоподобно, что де Местр был одержим идеей реставрации религиозно-политического единства Европы и не видел ничего предосудительного в службе сразу двум монархам. В конце концов, фавор в статусе личного секретаря государя не продлился для него и четырех месяцев.

В этой истории есть еще один участник, чья роль могла бы показаться почти случайной, если бы не влияние, которое он сохранял на всем протяжении «мистического периода» правления Александра, — князь Голицын. Возвышение Голицына пришлось как раз на последние годы правления Сперанского; подобно другим амбициозным молодым людям, Голицын с беспокойством следил за тем, как изящно и настойчиво Екатерина Павловна вводила Карамзина в круг доверенных лиц своего брата. Примечателен эпизод, о котором упоминает Ю.М. Лотман со ссылкой на А. Герцена. В один из вечеров, когда у Александра читали Шиллера, А.Н. Голицын, наклонившись к В.П. Кочубею, сказал вполголоса, но так, чтобы слышали все: «У нас есть свой маркиз Поза!» По мнению Герцена, Голицын закидывал хитрую петлю придворной интриги, зная, что «император не потерпит никакого претендента на роль руководителя»⁹.

⁹ Ю.М. Лотман так комментирует этот случай: «...добрый от природы, джентльмен по воспитанию, он был русским самодержцем, следовательно, человеком, который не мог поступиться ничем из своих реальных прерогатив: известно, что даже тень подозрения в «личных видах» переводила для Александра очередного фаворита из разряда друзей в презираемую им категорию царедворцев <...> В этих условиях деятельность любого русского претендента на роль маркиза Позы была заранее обречена на провал».

Если эта история достоверна, то выдвижение Голицыным де Местра в качестве «персональной альтернативы» Сперанскому выглядит логичным. Иностранец, католик не мог быть серьезным политическим конкурентом, но вполне подходил на роль выразителя настроений антилиберальной оппозиции. Таким образом, Голицын обезопасил себя, выбрав «скромную роль» посредника, но не наставника. В случае провала это давало шансы сохранить расположение государя, в случае успеха — опередить других претендентов на роль фаворита. На наш взгляд, эта версия заслуживает проверки.

Даже если выбор пал на де Местра благодаря противостоянию Александра самой сильной линии оппозиции во главе с членами его семьи, это не умаляет того впечатления, которое произвели на государя деместровские «Четыре главы о России». Работа представляет собой своеобразный памятник политическому такту ее автора.

«Четыре главы о России» и записка Карамзина являются настолько разными по тональности произведениями, что их сравнение требует пояснений. Наибольшее совпадение концепций обоих претендентов на роль государственного идеолога было связано с антилиберальной критикой и противопоставлением консервативной конкретности либеральному абстрактному конструктивизму. Но де Местр оказался в менее выгодном положении, чем Карамзин. Николай Михайлович был искренним патриотом и русофилом, основной тенденцией отечественной истории считал развитие и укрепление самодержавной власти. Де Местр не являлся апологетом российских политических традиций, воспринимал их как деспотические и потому находился в затруднении: как использовать против либеральных оппонентов излюбленное консервативное оружие — традицию, если в российских условиях она далеко не идеальна? Оставалось придать работе теоретический характер и, оставив обычную для его корреспонденции атаку на изъяны российской политики, представить традиционное развитие в принципе как высшую политическую ценность. Очевидно, де Местр рассчитывал таким образом заслужить не только благосклонность к трактату, но и снисхождение и внимание к критике, содержащейся в его личных письмах: он прекрасно знал, что его переписка подвергалась высочайшей перлюстрации.

Деместровской программе был противопоставлен искренний дворянский «ультиматум» Н.М. Карамзина. Для того чтобы сделать политические программы, представленные вниманию Александра, соотносимыми, следует выйти за пределы «Четырех глав». Это позволит судить о том, насколько дипломатичнее оказался их автор по сравнению с представителем оппозиции русского дворянства. Наиболее явно специфическая природа консервативной конкретности проявилась в рассуждениях о своеобразии российской традиции. Оба

автора придерживались идеи о российской культурной обособленности. При этом Карамзин подчеркивал историческую открытость влияниям, не позволяющую полностью идентифицировать русскую культуру ни с одним из источников формирования ее традиции, а де Местр — незрелость российской культуры и особенно ее чужеродность по отношению к европейской. То, что в описании Карамзина выглядело преимуществом, содержательным богатством («Во глубине Севера, возвысив главу свою между Азиатскими и Европейскими царствами, она представляла в своем гражданском образе черты сих обеих частей мира» [4, с. 10]), в оценке де Местра звучало как предостережение против преждевременной идентификации с европейским ансамблем («Это не Европа или, по крайней мере, это азиатская раса, оказавшаяся в Европе» [5]). В «Четырех главах» де Местр с особой обстоятельностью объясняет, что благодаря расколу и татарскому нашествию Россия не пережила вместе с Европой политического и духовного становления. В одном из писем мысль о культурной инородности России по отношению к Западу выражена в лаконичном замечании: «Европейский характер, составившийся из смеси рыцарства и христианства, никогда не распространялся далее Двины» [6, с. 158].

Несмотря на различную оценку российской обособленности, оба корреспондента Александра сходились в утверждении исключительного своеобразия России и не одобряли экстраполяцию на русскую почву западных форм. Карамзин считал фрагментарное заимствование благотворным: «Такая смесь в нравах, произведенная случаем, обстоятельствами, казалась нам естественною, и россияне любили оную как свою природную собственность» [4, с. 11]; де Местр полагал, что неприспособленность России к европейскому климату при столкновении с Европой поставит страну на грань революции: «...русская цивилизация совпала с эпохой наибольшей испорченности человеческого разума <...> Ужасная литература восемнадцатого века пришла в Россию внезапно и без приготовления; и первыми уроками французского, которые услышал народ, были богохульства» [7, р. 25-26].

Таким образом, Карамзин выступал скорее в роли традиционалиста, недовольного вольным обращением с историческим наследием, Местр — в амплуа консерватора, предвидящего последствия идеологической экспансии Запада. С этим связано и несколько различное отношение того и другого к эволюции российской традиции со времен Петра I. И Карамзин, и де Местр во многом сходились в своих оценках Петра I. Называя Петра «убийцей своей нации», Местр писал: «Отняв собственные обычаи, нравы, характер и религию, он отдал ее под иго чужеземных шарлатанов и сделал игрушкой нескон-

чаемых перемен» [6, с. 179]. Ему вторил Карамзин: «Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество <...> Сей дух — не что иное, как уважение к своему народному достоинству. Искореня древние навыки, представления, представляя их смешными, глупыми, хваля и вводя иностранные, государь России унижал россиян в их собственном сердце...» [4, с. 24].

Если Карамзину петровская эпоха казалась только источником политических заблуждений, то де Местр считал, что Петр подорвал русскую национальную традицию. В условиях культурного и идеологического влияния Европы у России нет культурного «иммунитета». Отсюда и более жесткий тон в оценке Петра. Главным обвинением Местра в адрес царя-реформатора было «сокрушение» церкви и религиозности, что, как ему казалось, должно было определить успех просветительских идей и атеизма: «Противу сего превосходства нет иного лекарства кроме религиозного чувства. К сожалению, оно совершенно здесь отсутствует, ибо там, где служители религии суть пустое место, пустым местом является и сама религия» [6, с. 161].

При всей неприязни де Местра к Петру, в «Четырех главах» он избежал его открытого осуждения. Но когда Местр рассуждает о свободе и просвещении, отношение к петровским реформам прочитывается между строк. Обосновывая «несостоятельность» идеала свободы в России, Местр повторяет свою привычную мысль о двух исторических способах обуздания «порочной» человеческой воли: рабстве и религии — «двух якорях общества»; провозглашая рабство «необходимой частью управления» до появления христианской религии, он ставит отмену его в зависимость от того, насколько «род человеческий <...> проникся и руководствуется христианством». Сравнение католической и православной ветвей христианства приводит Местра к заключению, что в России, где духовенство не располагало ни влиянием, ни властью, освобождение равносильно катастрофе. В качестве дополнительного аргумента против отмены крепостного состояния де Местр ссылается на географическое своеобразие Российской империи и особенности национального характера. Пространственная протяженность России не позволяет, по его мнению, из соображений политической безопасности отказываться от помещичьей юрисдикции, разделяющей с государством функцию управления. Тот же мотив был использован и Карамзиным: «Теперь Дворяне, рассеянные по всему Государству, содействуют Монарху в хранении тишины и благоустройства: отняв у них сию власть блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию на ремена — удержит ли?» [4, с. 82].

Что касается особенностей русского национального склада, де Местр, относившийся к русским с симпатией, не упускал возможности поиронизировать над отсутствием в России привычки к умеренности, бытовой аскезы. По его прогнозам, попытка привить европей-

скую «свободу» на русскую почву неминуемо обернулась бы бунтом: «Тот, кто пишет это, говорил иногда <...> что если бы можно было заложить русское желание под цитадель, она взлетела бы на воздух. Мысленно предоставим свободу тридцати шести миллионам людей подобного склада <...> в тот же момент увидим, как вспыхнет общий пожар, который поглотит Россию» [7, р. 21-22]. Так доказывалась несовместимость универсального идеала свободы с конкретными условиями Российской империи.

Основная особенность консервативной мысли — конкретность — прослеживается у де Местра и Карамзина и в содержательном преобразовании самого понятия свободы.

К. Мангейм — один из самых известных исследователей морфологии консервативного сознания — показал, что консервативное изменение либерального понятия заключается в замене эгалитарного толкования свободы, основанного на скрытой идее равенства, принципом развития пропорционально природной индивидуальности ее «носителей». Поскольку субъективная свобода, заменившая собой внешнюю — политическую либеральную свободу, даже в таком виде представляла угрозу для безопасности государства, консервативная мысль породила тенденцию к перемещению качественной свободы с индивидуальных к коллективным ее носителям — сословиям. Но даже в таком виде понятие свободы могло угрожать политической стабильности. Следующим этапом решения проблемы было перенесение качественной свободы с сословий на нацию и государство как «субъекты» безграничного совершенствования и развития.

Рекомендации де Местра и Карамзина не только иллюстрируют этот механизм, но и раскрывают своеобразие авторских позиций обоих публицистов. Казалось бы, от Местра как приверженца холистического принципа, противопоставленного либеральному индивидуализму, можно было ожидать смещения свободы на уровень нации и государства, а от Карамзина, защитника сословных интересов русского дворянства, — толкования свободы как сословной привилегии. Однако здесь они парадоксально меняются ролями. Де Местр пишет в главе «О свободе»: «Возможно, что какой-нибудь истинный друг Его императорского Величества найдет когда-нибудь случай объяснить ему, что слава и сохранность империи состоят в значительно меньшей степени в освобождении еще поработанной части нации, чем в совершенствовании свободной и особенно благородной ее части» [7, р. 28]. Здесь отчетливо прослеживается понимание свободы как сословной прерогативы. А Карамзина изложение претензий дворянства к верховной власти, увлеченной либеральными проектами, не удерживает от следующего заявления: «Первая обязанность государя есть блюсти внутреннюю и внешнюю целостность Государства; бла-

говолить состояниям и лицам есть уже вторая» [4, с. 82]. Так у выразителя интересов оппозиции возникает приоритет государственного начала. Эту смену позиций можно объяснить следующим образом.

Приехав в Петербург, де Местр расстается на время с апологией национально-политического «сплава» и переходит к дифференциации государства и общества, защите сословия дворян как ячейки слабой гражданской сферы. Непосредственным поводом к этому послужила попытка модернизации России по инициативе государства, не вызвавшая одобрения в дворянской среде. А позиция Карамзина выявляет специфику самосознания русского дворянина, не обладающего чувством самоценности в той мере, в какой это было свойственно представителям высших классов на Западе, и напротив, скорее осознающего себя слугой царя, несмотря на личные манифесты о независимости. Тема свободы только обозначила принципиально разное отношение консерваторов к проблеме социальной опоры русской монархии.

Несмотря на нюансы, взгляд на проблему освобождения крестьян объединяет эти политические программы. И де Местр, и Карамзин придерживались в вопросе о социальной реформе принципа постепенности. Но де Местру удалось поддержать Александра в его либерализме и в то же время избавить его от страха перед немедленными преобразованиями благодаря идее органичного развития и «естественной» модификации крепостной системы: «Если освобождение должно иметь место в России, оно произойдет, что называется, естественно. Обстоятельства совершенно непредвиденные заставят желать его с той и с другой стороны. Все исполнится без шума и несчастий (все великие вещи происходят таким образом)» [7, р. 28].

Оба автора говорили о необходимости подготовки крепостных к освобождению, используя известный консервативный аргумент о природной испорченности человека и его недостойности свободы. Карамзин писал, что «для твердости бытия Государственного, безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным» [4, с. 83]. Местр ставил отмену крепостного права в России в зависимости от преобразования духовной сферы.

Если к проблеме освобождения Карамзин как дворянин проявлял не меньший интерес, чем де Местр, то тема просвещения не вызвала у него такой обеспокоенности, как у савойца, опасавшегося «экспорта революции» в Россию. Автор «Записки», признавая синкретичный характер российских традиций, предостерегал царя только от пренебрежения национальным бытовым укладом, стариной. Де Местр поставил под сомнение саму ценность научного знания для русских, предупреждая о политических последствиях распространения атеизма. По его прогнозам, реформа образования в сочетании с отменой крепостного

права немедленно подарила бы России «университетского Пугачева» и целое поколение «полузнаек» и «отрицателей», охочих до поверхностного знания и равнодушных к обычаям своей родины.

Проблема образования в России заставляет де Местра обратиться к излюбленной идее о «национальном предназначении». России еще только предстоит угадать свою «партию национальной карьеры», но пока ее миссия — оказать сопротивление Революции, а значит, Александру нужны только две категории людей: «люди смелые и благородные». Уступая вкусу читателя, де Местр смягчил свой слог, подчеркивая, что речь идет о современном положении дел: «к науке ползут; к ней не летят»; «наука явится сама, когда наступит время, с помощью средств совсем непредвиденных». Так, избавляя царя от уколов совести в связи со свертыванием реформ, Местр и здесь не задел идеалов «просвещенного монарха».

Близость позиций де Местра и Карамзина прослеживается в их отношении к последним политическим преобразованиям либерального окружения Александра. Де Местр еще в «Эссе о политических конституциях» писал о «машинальном отвращении всех здравых умов к инновациям», обращаясь к авторитету векового опыта, «оправдывающего инстинкт такого рода». Ему вторил Карамзин: «Советники Александра захотели новостей в главных способах Монаршего действия, оставив без внимания правило мудрых, что всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надо прибегать только в необходимости: ибо одно время дает надлежащую твердость уставам» [4, с. 58].

В качестве альтернатив Реформе оба эксперта предлагали «опыт», «обычай», «здоровый смысл». «Для старого народа не надобно новых Законов», — декларировал Карамзин, а де Местр любил повторять, что «прежде чем создать законы для народа, надо создать народ для законов». Оба считали, что законодательство должно кодифицировать укоренившиеся правила.

Анализ политического состояния России привел де Местра к необходимости ее внешнеполитической изоляции во избежание распространения европейской революционной волны. Карамзин только один раз упомянул о том, что «мудрость Государей московских» состояла в уклонении «от всякого участия в делах Европы, более приятного для суетных Монархов, нежели полезного для Государства».

Меньшая настойчивость Карамзина в продвижении политики изоляции отражает космополитический характер дворянского консерватизма в России. Национализм в идеологии «правых» приобретет значение одного из ведущих принципов уже во второй половине века. Российский «торизм», представителем которого был Карамзин, только пытался примирить заимствованные новшества со стариной (от-

сюда, кстати, и название записки). Некоторым суждениям де Местра из «Четырех глав», а особенно из «Санкт-петербургских вечеров», где он призывал россиян вернуться к бытовой старине, напротив, легко можно было бы приписать славянофильское происхождение. Как ни странно, савоец одним из первых в России предложил не только бытовой консерватизм, но и внешнюю изоляцию в качестве норм поведения и политической стратегии.

В понимании характера монархической власти и ее социальной опоры российский историк и французский консерватор расходятся. Оба чувствовали, что основным в решении проблемы сохранения политического преимущества дворян в российских условиях является вопрос о комплектовании государственного штата — настолько явным было нарушение в этой сфере принципа сословности. Поскольку при Петре I меритократия стала основным принципом кадровой политики, можно было ожидать, что консервативная позиция выразится в обосновании исключительного права дворян на участие в управлении безотносительно к их личным качествам. Но вот парадокс: именно меритократию Петра Карамзин считает едва ли не главной заслугой царя-реформатора. В «Записке» есть такие суждения по этому поводу: «Говоря о превосходных его дарованиях, забудем ли почти важнейшее для Самодержцев дарование: употреблять людей по их способностям? Полководцы, Министры, Законодатели не рождаются в такое или такое Царствование, но единственно избираются <...> Чтобы избрать, надобно угадать; угадывают же людей только великие люди — и слуги Петровы удивительным образом помогли ему на ратном поле, в Сенате, в Кабинете», — пишет Карамзин о Лефорте, Меншикове, Волкове и других «птенцах гнезда Петрова» [4, с. 23].

В то же время «социальное поручение» заставляло Карамзина отстаивать противоположный меритократическому функциональный, сословный подход: «Надлежало бы не Дворянству быть по чинам, но чинам по Дворянству, то есть для приобретения некоторых чинов надлежало бы необходимо требовать благородства, чего у нас со времен Петра Великого не наблюдается: офицер уже есть дворянин» [4, с. 127]. Пытаясь выдержать продворянскую ориентацию, Карамзин использовал аргумент об изначальном превосходстве господствующего слоя: «Дворянство — преимущество важное, редко заменяемое естественными дарами простолюдина, который в самой знатности боится презрения, обыкновенно не любит дворян» [4, с. 128].

Принцип комплектования политического класса и его верхушки, предложенный Карамзиным, является компромиссом между сословным и петровским подходом: это выбор преимущественно дворян, но в соответствии с личными способностями. («Пятьдесят мужей умных, пятьдесят губернаторов», а не государственные преобразования требовались России, по мнению Карамзина.)

И все же программа «ториста» предоставляла серьезную уступку «демократическому» способу выдвижения: «Не должно для превосходных дарований, возможных во всяком состоянии, заграждать пути к высшим степеням, — но пусть Государь дает Дворянство прежде чина и с некоторыми торжественными обрядами вообще редко и с выбором строгим» [4, с. 127]. Однако предварительное введение в дворянское достоинство могло стать лишь проформой. То есть проект соблюдения сословной прерогативы в кадровой политике, предложенный Карамзиным, вряд ли обеспечивал сохранение «чистоты» сословия дворян. Он отставивал не *исторические права* дворянства, а только *привилегию быть полезным* самодержавию. Историк не смог выдержать до конца ультимативного тона правой оппозиции уже потому, что изначально выступал по долгу «верного слуги».

Де Местр отказался от обоснования личных *преимуществ* дворянства и строго придерживался функциональной позиции. Ссылаясь на опыт предреволюционной Франции, он отставивал нецеленаправленную «герметизацию» сословия; государственная служба получала значение *исключительной дворянской прерогативы*. Недовольство дворянами и обращение к третьему сословию, предупреждает Местр Александра, заставило Людовика XVI «потерять там корону и жизнь». Страсть к сохранению чистоты дворянского сословия делала де Местра непримиримым к увеличению военного штата, так как армейская служба обеспечивала приток во дворянство представителей непривилегированных слоев, а кроме того, военизация могла породить у самого монарха иллюзию прочности власти и пренебрежение почвенным ее основанием. Напоминая о просчетах казненного короля, Местр писал: «Армия в такого рода случаях бесполезный фантом, который не дает никакой гарантии государю».

Второе предупреждение де Местра относится к привлечению в бюрократический штат образованных выходцев из непривилегированных классов. Для Местра немислимы попытки возрождения монархии в стиле Девуазена и аббата Дибо, искавших опоры у народа в противовес «испорченному дворянству».

Примерно за сто лет до М. Алле Местр высказал идею об «эксплуатации» «реальной элитой» интеллектуального и творческого потенциала иных общественных слоев под видом социального продвижения. «Во Франции, — говорится в главе «О науке», — на протяжении семнадцатого века дворянство привлекало к себе ученых, которых оно обращало на пользу Государству. В восемнадцатом веке оно опустилось до них вместо того, чтобы привлекать их к себе. Что произошло? Дворянство пало, и государь вместе с ним». Какой диссонанс с готовностью Карамзина открыть доступ к высшим степеням «для превосходных дарований, возможных во всяком состоянии»!

Итак, своеобразие менталитета дворянских сословий двух стран определило контраст «требований» российского дворянина Н.М. Карамзина и *только вошедшего в образ* французского «дворянина шпаги» де Местра. «Верноподданные» чувства не позволили первому проявить настойчивость в принципиальном для его программы вопросе. Зато охранительная ориентация Местра сделала его защитником дворянского сословия в России. Романтик оказался «более последовательным дворянином».

Постоянно упоминая о специфике современной исторической ситуации, де Местр без труда сумел миновать осуждения либеральных пристрастий Александра и в вопросе о формировании политического класса. В устах Карамзина требование сохранения сословной чистоты, излагаемое менее последовательно, без этого нюанса, казалось более притязательным. Но политическая доктрина Карамзина обладала большей перспективностью благодаря историософизации самодержавной власти. Попытки де Местра внедрить идею о необходимости поощрения гражданского общества как основы монархии не имели особого успеха в царствование Александра, и после Венского Конгресса бюрократизация и военизация государства только усилились. По прогнозам Местра, успевшего еще застать военные поселения, это должно было повлечь за собой ослабление реальной, почвенной, основы монархического авторитета в России и в будущем — социальную революцию.

Третья глава работы де Местра должна была представлять для Александра I наибольший интерес, поскольку содержала справку о знаменитой теории революционного «заговора» против европейских монархий. Миф о коалиции сил зла против законных европейских династий имел хождение в эмигрантской среде еще до выхода в 1797 г. книги аббата Баррюэля «Мемуар об истории якобинизма». Популярностью идея «заговора» обязана автору эссе «Моральные и философские мысли и наблюдения» (1794 г.) Себастьяну де Кастру, впервые осмелившемуся обвинить Вольтера и энциклопедистов в развязывании революции. В появившихся в 1796 г. «Размышлениях о Франции» де Местра фантом «мерзостной секты» уже присутствовал без каких-либо пояснений. Отречение от либеральных и масонских симпатий времен его молодости направляло Местра к отрицанию всего, что представляло малейшую угрозу порядку и политической безопасности. Ни о каком снисхождении к некоторым течениям в масонстве, по ошибке причисленным к «заговорщикам», не могло быть и речи.

В России для де Местра ситуация несколько изменилась. Интерес Александра к масонству ни для кого не составлял тайны. Кроме того, Местром, по-видимому, двигало чувство справедливости в отноше-

нии одного из своих «учителей» — французского философа-мистика, иллюмината Сен-Мартена. Массонское прошлое, ставшее причиной нескольких политических неудач де Местра в Европе, в России обернулось неожиданным преимуществом. При этом Местр не рисковал вызвать неодобрение. Развивая тему, он, казалось, только предостерегал молодого монарха. Материал для этого сюжета Местр собирал на протяжении нескольких лет, мечтая написать книгу о масонстве. Особенный интерес представляли для него малоизученные братства Германии, о чем свидетельствуют письма к Винь-дез-Этолю: «Что касается Германии, то для того чтобы рассказать вам об этом как следует, я должен был бы создать книгу <...> Эта страна покрыта секретными обществами и ложами. Я думаю, что одни — хороши, и другие — нейтральны, и третьи — дурны. Я говорю “дурны” в смысле, совершенно отличном от того, что вы могли вообразить. Может статься, что есть там и политически дурные, но мне об этом ничего не известно» [1, р. 501]. Местр мечтал даже о том, чтобы отправиться в Германию для исследования масонства. И хотя этому проекту так и не суждено было осуществиться, он усердно изучал в Лозанне и в Турине (в октябре 1797 г.) немецкий язык. Салоны, протестантские друзья, случайная литература — все служило источниками пополнения сведений о масонской среде.

Представив в «Четырех главах» характеристику наиболее известных течений масонства, ученик Сен-Мартена постарался реабилитировать в глазах Александра французских мартинистов и пиетистов, усилия которых были сосредоточены на создании «внутреннего храма души». Местр нашел исключительно остроумный способ примирить долг и пристрастие, «ссылая» подрывающие принцип единства и авторитета, но симпатичные ему масонские течения в некаатолические страны в качестве миссионеров католицизма. И если орден иезуитов выполнял здесь роль «форпоста» религиозной чистоты, то религиозные ложи должны были готовить христиан к объединению с Римом. Их полезность для России заключается, по мнению Местра, в том, что они «стремятся погасить религиозные различия и объединить христиан с помощью равнодушия, даже посвященных, во многих пунктах, которые горячили когда-то умы», и «приучают людей к догмам и духовным идеям». Не обошлось без курьеза. Местр так увлекся описанием политической опасности, стоящей у рубежей России, что вопреки собственному суждению о полезности религиозных лож в других странах заявил, что «во времена смятения и волнения всякое собрание является подозрительным», не предполагая, что это послужит буквальным руководством к запрещению всех тайных организаций в России после 1815 г.

Виртуозность, с которой де Местру удалось избежать критики либеральных ценностей и показать лишь их *неприложимость к рос-*

сийским условиям, с акцентом на характере исторической ситуации, обеспечила его работе преимущество перед произведением Н.М. Карамзина. Предостерегающий мемуар де Местра пришелся весьма кстати, поскольку его настроение соответствовало переходному состоянию политического стиля Александра: от либеральных авансов к обскурантизму второй половины царствования.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Triomphe R.* Joseph de Maistre: Étude sur la vie et sur la doctrine d'un matérialiste mystique. Genève: Librairie Droz, 1968.
2. Степанов М., Вермаль Ф. Жозеф де Местр в России // Литературное наследство: русская культура и Франция. Т. 29–30. М.: Госиздат, 1937.
3. Троицкий А.Н. Александр и Наполеон. М.: Высшая школа, 1994.
4. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. Л.: «Светоч», государственная фабрика конторских книг. [Б. г.]
5. Местр Ж. де Письма в Сардинию // Русский архив. 1912. № 2. С. 224.
6. Местр Ж. де Кавалеру де Росси. 7 (19) декабря 1810 г. // Местр Ж. де Петербургские письма. СПб.: ИНАПРЕСС, 1995.
7. *Maistre J. de* Quatres chapitres inédites sur la Russie par le compte Joseph de Mestre publiés par son fils Rodolphe de Maistre. Paris, Librairie d'AUG, 1859.